

Сергей МЕЛЬНИК

А СВЕЧКА ВСЕ ЕЩЕ ГОРЕЛА...

(Окончание. Начало в № 3/67.)

И все-таки светлый и чистый лик сестренки меня успокаивал и становился тем маленьким утешением, которым я мог хотя бы в малой мере себя успокоить. Но когда я узнал, что она свою чистоту отдала кому-то, но не мне, что она питала нежность и чувства греховной любви к кому-то, но не ко мне, я пришел в ярость, которую прикрыл понятием чести и боязни позора. Тогда я не мог ей простить, потому и...

Сам не заметив того, как вслушиваясь в шумный стук своего сердца, я отстранился от присутствия Жени и удалился в собственные воспоминания, которые меня терзали и которые все-таки были сладостны. Я очнулся от них, лишь когда Женя всхлипнула и заплакала. Я испугался. Неужели я проговорился и все рассказал? Или ее тронула та пара слов о сестренке?

— Ну, успокойся, — прижал я ее голову к своей груди, как это я делал с сестренкой, и начал утешать ее взволнованным и дрожащим голосом, но на самом деле я пытался успокоить самого себя. — Ты же мою сестренку не знала, а плачешь...

— Не успокоить себя я не мог. — А сколько ей было? — Шестнадцать...

После моих слов Женя еще крепче прижалась к моей груди, а мне все еще было непонятно, то ли я рассказал все начистоту без утайки, то ли она знала сестренку, то ли так тронули ее мои слова, что она заплакала. Я хотел спросить Женю о своем сомнении, из-за которого испытывал idiotскую неловкость и замешательство, но так и не смог вымолвить ни слова. А она тихо лила слезы, от которых мне становилось еще невыносимее. Воспоминания и слезы. Что может быть хуже?! Они так убийственно действовали на меня, отчего гул сердца становился до безумия оглушающим. Детское личико. Наивные серые глаза. Слезы. Воспоминание. Сестренка. Слезы. Гудящий шум. Шум. Удары. Сердце.

И вот у меня возникло ощущение, что еще чуть-чуть — и я сойду с ума. Потому что не выдержу, как щемит сердце. Оттого, что охватило безумие: нахлынул шум, покатились слезы, а вместе с ними — поплыли воспоминания... Я неожиданно закричал.

Женя перестала плакать. Серые испуганные глаза смотрели на меня недоуменно и ждали, что я буду делать дальше. От неожиданного крика, который нагнал на нее немало страха, она пришла в полную растерянность, детскую растерянность. Я видел это в ее глазах. Я почувствовал, как мои щеки обдало жаром. Из-за стыда... Скорее всего, нет... Но из-за чего, у меня не хватило мужества признаться самому себе... И все-таки... Потому что... Я накричал на слабую девочку, которую любил больше всех в жизни, потому что ударил ее, хрупкую и нежную, потому что я... Я испугал Женю. Я, мужик, не нашел ничего лучше, как наорать, вместо того чтобы... чтобы... чтобы... простить и понять... Понять и простить...

— Прости меня, — я взял жесткую руку Жени в свою и почувствовал ее тепло. — Ты плакала, а я не могу слышать, когда плачут. Мне невыносимо дико становится от чужих слез. — Нет, ничего, — она виновато потупила свой взгляд на пол. — Это ты меня должен извинить. Я, истеричная дура, не могу совладать с собою, когда чувствую что-то близкое, горькое и родное.

Женя потянулась к сумочки, вынула от туда испачканный губной помадой платочек и вытерла им слезы.

Затем вышла из комнаты. Потом вернулась и села рядом со мной.

— Мне тоже было шестнадцать, как и твоей сестре, — протянула она тихо с мечтательностью в голосе, к которой после вдруг добавился цинизм, отчего на миг она изменилась в лице. — Я влюбилась безумно. В красивую сволочь. Даже не сволочь, а в скота. Знаешь, так уже заведено: любовь зла, полюбишь... Животное, которому отдашь всю себя безвозвратно ради одной лишь глупой выдумки под названием любовь...

Женя замолчала. Цинизм и мечтательность растворились. Осталась все та же кротость и детскость, перемешанные с горечью и усталостью на овальном лице.

— И я тоже доверилась тому, который мне казался единственным и неповторимым, — вновь тихо начала она. — А потом... В общем-то, меня в нем привлекали хулиганство, мужественность и красота. Он действительно был красив. Глаза голубые, такие удивительные... Чуть заметно перебитый нос. Выпуклые губы. Подбородок с ямочкой. А сам коротко острижен. С толстой шеей и широкой грудью. Он был высоким. И очень сильным. И к тому же еще — умным. Он мне казался необыкновенным, хотя и было ему всего двадцать, и к тому же был он из семьи интеллигентов... Но он был действительно необыкновенным. Он только что вернулся из армии. Я его и раньше видела, когда была совсем маленькой девочкой, но в него влюбилась лишь тогда, когда увидела на дне рождения у подружки. Да, именно тогда он показался мне ни на кого не похожим, замечательным и... Он не был для меня принцем, он казался мне больше, чем принц, потому что принцам не хватает мужественности, некоторой грубости и простоты, которая порою притягательнее, чем обыкновенная смазливость, как у большинства комнатных ребят. Они ведь больше походят на кукол, с виду миленькие такие, а внутри — пусто... А он...

На дне рождения я в первый раз выпила и в первый раз почувствовала прикосновение мужских рук, нежных и в то же время сильных, на своем теле. И эти прикосновения были его. Он шептал мне приятные слова и гладил, так гладил, что я млела, как кошка. А в ванной он мною овладел. Сначала лишь я ему сопротивлялась, так, ради приличия... Мне было больно, но ради него я стерпела.

После начали встречаться. С ним я уже не чувствовала себя замурзышкой, нет... Он называл меня принцессой, это так и было, потому что я себя именно ей рядом с ним и представляла. Многие девочки из-за этого мне даже завидовали. Так завидовали, что я... О, какое я испытывала наслаждение лишь от присутствия с ним на виду у одноклассников и знакомых. А потом, как это тебе сказать... Мне еще в нем нравилась та грубость и нежность, с которыми он мною овладевал. А овладевал он мной часто. Для этих дел он вел меня в чей-нибудь сарай или подвал. К себе домой — родители не позволяли, поэтому — в сарай или подвал... И там, среди грязи и вони, он одаривал меня своей грубой нежностью... Мне все это было ужасно неприятно, а с другой стороны, я этого страстно желала... Так желала, что сама об этом его просила... И вот...

Как-то однажды в очередной раз зашли в подвал для этого самого, а там сидят его друзья. Я смутилась, а он — нисколько. Они там что-то уже с самого утра отмечали, почти все были тогда навеселе, предложили ему и мне присоединиться их торжеству, он согласился, я — тоже,

хоть мне и не нужно все это было, так ведь он так захотел... Он с ними выпил, а когда он пил, то становился дураком. Вот и тогда тоже... Он при всех начал трогать меня, а потом ему прямо при всех меня захотелось... Ну, овладевая мной... Я же при всех не хотела... Он меня насиловал, но никто из тех ребят не вступился за меня, все смотрели и улыбались, подзадоривая его и подшучивая надо мной.

Когда он сделал свое дело, обозвал при всех шлюхой и пустил по рукам. Я кричала до хрипоты, но все было бесполезно. Их было шесть человек, и каждый из них прикасался ко мне своими грязными руками и подминал меня, обессилевшую от криков и сопротивления, зловонными потными и до омерзения липкими телами. После кое-как меня одели, влили водки в рот и отправили домой. Родным сказали обо всем боялась, как и теперь боялась его, которого все еще продолжала любить. Он звонил мне, но я бросала телефон. Он приходил ко мне, но я не открывала двери. И все это время как последняя дура продолжала любить. Любить, как и раньше. Знаешь, любовь — самое худшее, что есть на этом свете, потому что...

Я ничего не могла с собой поделать... И вот шикарным цветом, красивой коробке конфет и слезной мольбе о прощении я уступила. Я поверила ему, стоявшему передо мной на коленях, потому что я не могла ему не верить насчет водки и дурости. Но главное — насчет любви. Любил же его по-настоящему!.. Мы с ним снова встречались. Время шло... Я уже успела позабыть обиду и ужас в подвале. Как и прежде, любила безумно его, который был мне защитой и не только ею... Ведь он был для меня всем, и человека, который для меня был дороже всего на свете, как он, я и не знала...

Однажды он проигрался в карты. Денег не было, а проценты росли. Какие-то головорезы начали ему угрожать. Раз даже побили... Знаешь, он был сильным, но не настолько, чтобы справиться с ними со всеми. Я очень испугалась тогда за него, я испугалась, что потеряю его. Ой, как я тогда боялась, что настанет день, и его не увижу никогда... Я тогда была уверена, что смогу его спасти... Я сама предложила ему отдать меня кому-то, чтобы были деньги. Он сразу же согласился, заверяя меня в том, что еще больше любит, а мне ведь и большего не нужно было, как услышать его безудержный поток слов глубокой признательности и безумной любви ко мне, чтобы ощущать себя счастливой от одной лишь мысли, что я спасаю его, который для меня все на свете.

Он подкладывал меня под чучков с рынка, подкладывал под своих приятелей, которые ему готовы помочь, но лишь за что-то, а я все ложилась и отдавалась всем им, терпя все эти нескончаемые вечера и ночи с теми вонючими скотами. Я ведь его любила, потому и находила в себе силы терпеть все это. И конечно же, спасать его. А спасать мне приходилось все чаще и чаще, пока из дому не выгнали родители, когда вся округа не начала обо мне говорить, что я грязная дешевая проститутка. А он...

Я отдавалась ему все реже и реже, потому что все реже и реже он хотел мною овладевать, а другим — все чаще и чаще, потому что надо было за него расслабляться... А еще... Он ведь жил с культурными родителями, ну прямо — аристократами, такими видными и представительными родителями, с которыми часто ссорился и сразу же мирился, потому что глупо было покидать обустроен-

ную крышу отчего дома и уходить в неизвестность, пугающую своими лишениями и нищетой.

А я, дурочка с переулочка, не вписывалась в этот семейный интерьер, в котором замелькала худенькая и совсем чистенькая девочка, очень нравившаяся всем, а ему в особенности. Его любовь ко мне с ее появлением в его жизни прошла. Я даже не заметила, как это произошло. Как произошло, что им позабылись мои жертвы во имя любви к нему.

Правда, что говорят, все проходит, и это тоже пройдет... Так вот, его любовь ко мне прошла, угасла. Он тогда уже завязал с картами и перестал делать долги. А потом неожиданно кто-то из родительских дружков устроил его на хорошем доходном месте. Вскоре его заставили жениться на той хрупкой Розочке, после свадьбы с которой у него появились свои деньги, свой дом и своя машина. Ведь у всех на устах я была вшивой проституткой, которой он уже, как и многие знакомые, стеснялся на виду у людей.

Так он меня бросил, и я... Домой так не вернулась, потому что меня уже похоронили заживо... И я... Что я умела делать, если из-за своей любви забросила школу и наплевала на училище? Ничего... Иди куда-то учиться среди тех, кто младше тебя, и... Сам понимаешь глупо все это было. А жить на что-то нужно было и где-то, да так, чтобы хватало... Я ведь ничегошеньки не умела толком делать, кроме как продавать себя за деньги... Так это все пошло и поехало... И вот так меня уже не стало... Дочери... Любимой... Влюбленной девушки, счастливой и мечтательной, какой была я раньше. Не стало... Умерла...

Женя замолчала. Слез на ее глазах уже не было. Лишь чуть заметные разводы от туши, которую она не вытерла в ванной. На ее лице, взросло-детском, все еще оставалась горечь, перемешанная с усталостью, но эта горечь была окрашена стоическим спокойствием, что и придавало детскости ее лица черты взрослости.

Я смотрел на это спокойное детско-взрослое лицо, утомленное от горечи и усталости никого не щадящей жизни, и почувствовал жгучую боль в груди. В детстве я почти никогда не плакал, не любил, когда плакали другие, даже когда плакала сестричка, но в тот момент, когда я увидел выражение детских стоических глаз, наивно-детских, сестринских глаз, я почувствовал, что вот-вот и — заплачу от неимоверной боли внутри себя, боли, которую испытывал только дважды.

Тогда, когда я был совсем маленьким, обиженным сворой злых ребят, отнявших у меня самое дорогое, что у меня было, — буденовку деда, которой я так часто гордился и дорожил. Они отняли, а я не мог у них ее отобрать, потому что мальчишки были меня старше и сильнее. Они побрили меня, отпустив домой ни с чем. Я пришел и плакал. Плакал от своей слабости и беспомощности. У меня отняли самое дорогое, память о деду, которого уже нет, и мне не оставалось ничего, кроме как смириться с тем, что я беззащитный маленький мальчик, которого старшие могут обидеть, и за это им ничего не будет. Потом я возненавидел самого себя, слабость и беспомощность. Я стал сильным и жестоким, как все жестокие и сильные.

И так было до тех пор, пока не умерла сестричка. Ведь это я ее убил. Своєю жестокой, не все прощающей любовью. Тогда мне пришлось испытать боль во второй раз, из-за своей беспомощности изменить и измениться. Я осознал, что

жестокость, моя жестокость, была глупой, пустой и ненужной, она была все той же слабостью, но со знаком минус, она погубила прекрасное и хрупкое. Чувство, пусть и греховное, но до бескрайности волнующее, причиняющее сладостную душевную муку, отчего чувствуешь себя до безумия по-настоящему счастливым человеком. Тупая жестокость погубила... хрупкое... создание, в котором заключался весь смысл моей жизни.

Я осознал, хотел, но не мог стать прежним, как тогда в далеком детстве — добродушным мальчиком, который нравился сам себе, не мог вернуть и вернуться назад, когда было то, что радовало и приносило удовольствие. Я хотел, но не смог, потому что получилось не совсем то, чего желал, — я стал циничным брызгой, жутким эгоистичным субъектом, считающим себя невесть кем, но боящимся прошлого, и боящимся признаться самому себе, что я есть на самом деле. Я стал так легко и просто жалким и несчастным, не имеющим ничего такого, чем мог бы довольствоваться по-настоящему и искренне...

— А знаешь, — Женя даже чуть улыбнулась, — я до семнадцати лет писала стихи. Сейчас вот вспомнила одно, самое последнее:

В моих руках свеча горела,
Играя тенью на стене.
Я молча на игру смотрела,
Не замечая, как по мне

Стекали слезы маленькой свечи,
Что с каждым мигом

делалась короче
В мучительно растянутой ночи,
Что выдержать уже нет мочи,

Как нету мочи вынести печаль,
Обиды, боль и униженья,
И жизнь, которую не жаль,
И счастья дикого мгновенья...

Глупое стихотворение, правда? Ею я назвала "А свечка все еще горела". Название тоже глупое. Да и сама я была душой набитой, в любовь верила... Верила... Верила...

Женя глубоко вздохнула, усмехнулась, а потом тихо заплакала. Я ее обнял, уже не испытывая брезгливости к ее слезам, не пугаясь своей слабости и воспоминаний. Я нежно гладил ее, уже не вытесняя в тайники своей души щемящую боль, боль другого человека, боль, которую испытывал как свою, как и испытывал вновь ожившее во мне после долгих лет чувство, которое считал умершим. Я хотел заплакать, но не смог. Не смог, может быть, потому, что в тот момент меня переполняли разные эмоции, в которых я все еще путался, как в рыбацких сетях, эмоции, которым все еще не мог доверять, как не мог доверять проблеску обыкновенного чуда в жизни, затопленной в серости будней.

Я испытывал боль и вместе с тем ощущал накачивающиеся на меня огромные волны умиротворения, размывающие внутри все мои прежние страхи и давнишние переживания. Я не смог заплакать, потому что начал осознавать, что не должен больше огорчаться ни из-за жестокости, которая долго оставалась моим бесилием, ни из-за бессилия, которое долго оставалось непреодолимым лишь до сей поры стремлением быть самим собою. Не должен, оттого что только теперь вновь нашел выстраданную надежду полюбить, а потому — иметь тихую радость чаяния, когда-нибудь стать просто счастливым благодаря всего лишь одному человеку...

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет:

www.odessitclub.org